Гигантский крот. Франц Кафка

Все те – в том числе и я, – кому даже самый обычный, маленький крот кажется омерзительным, наверное, умерли бы от омерзения, доведись им увидеть гигантского крота, появившегося несколько лет назад вблизи маленькой деревеньки, которая благодаря этому случаю приобрела своего рода мимолетную популярность. Теперь сама деревенька исчезла из людской памяти, как, впрочем, и все это странное происшествие, так и оставшееся неразгаданным, что не удивительно, ибо никто особенно не старался разгадать его, и как раз те лица, которые обязаны были изучить этот феномен и которые усердно изучают куда менее значительные явления, по непостижимой халатности, не утруждая себя сколько-нибудь тщательным исследованием, предали его забвению. То обстоятельство, что деревня расположена вдали от железной дороги, ни в коем случае не может служить оправданием. Множество людей, влекомых любопытством, приезжали издалека, даже из чужих стран, и только те, кому надлежало проявить не одно лишь любопытство, не пожелали приехать. Более того, если бы отдельные лица, простые смертные, почти без передышки занятые повседневным трудом, – если бы эти люди не взялись за дело бескорыстно и самоотверженно, слух о необычайном явлении, по всей вероятности, не вышел бы за пределы своей округи. Нельзя не отметить, что и самый слух в данном случае против обыкновения оказался чрезвычайно медлителен; если бы его, выражаясь фигурально, не подталкивали, он бы вообще не распространился. Но это, разумеется, недостаточное основание для бездействия, напротив, именно такое явное отклонение от нормы нужно было исследовать дополнительно. Вместо этого составление единственного письменного документа, свидетельствующего о феномене, было передоверено старику учителю, который по праву слыл превосходным педагогом, однако не обладал ни достаточными природными данными, ни специальной подготовкой для исчерпывающего, подлинно научного описания своих наблюдений, не говоря уже о полной его неспособности объяснить их. Небольшая работа его была опубликована, ее охотно покупали тогдашние посетители деревни, многие даже хвалили ее, но сам учитель, как человек умный, понимал, что его одиночные, никем не поддержанные усилия, в сущности, не имеют никакой цены. Тот факт, что он все же не отступился и продолжал считать разгадку странного случая делом своей жизни, хотя оно год от года сулило все меньше надежд, доказывает, во-первых, какая сила воздействия таилась в феномене и, во-вторых, сколько упорства и убежденности можно обнаружить в старом, незаметном сельском учителе. Однако, судя по короткому послесловию, которым он дополнил свой труд, – правда, лишь несколько лет спустя, когда едва ли кто-нибудь помнил еще, о чем идет речь, – он сильно страдал от холодного равнодушия, проявленного авторитетными лицами. В этом послесловии, быть может и не очень складном, но подкупающем своей искренностью, он сетует на непонимание, с которым столкнулся там, где меньше всего мог этого ожидать. Об этих людях он отзывается весьма метко: «Не я, а они рассуждают, словно старый сельский учитель». И приводит, между прочим, слова одного ученого, к которому нарочно поехал поговорить о своем деле. Имя ученого не названо, но по некоторым косвенным обстоятельствам можно догадаться, кто это. Преодолев немалые трудности, учитель наконец добился приема, но уже с первых слов понял, что ученый относится к его делу с несокрушимым предубеждением. О том, как невнимательно был выслушан пространный отчет учителя, подкрепленный выдержками из его работы, свидетельствует замечание ученого, оброненное им после некоторого раздумья или видимости такового.

– В вашей местности ведь особенно черная и плотная земля. Вот кротам и достается особенно жирная пища, и они становятся очень большими.

– Но не такими же! – с негодованием воскликнул учитель и, несколько увлекшись, отмерил на стене целых два метра.

– Отчего бы и нет, – ответствовал ученый, явно забавляясь разговором.

С этим учитель и вернулся домой, Он рассказывал, как вечером, в снежную метель, его поджидали на дороге жена и шестеро детей и как ему пришлось сознаться им в окончательном крушении своих надежд.

Когда я прочел о приеме, оказанном учителю этим ученым, я еще ничего не знал об основном труде учителя. Но я решил незамедлительно сам собрать и обработать данные, какие удастся добыть по этому вопросу. Сознавая свое бессилие перед ученым, я надеялся своей работой хотя бы поддержать учителя или, вернее, не столько учителя, сколько благие намерения честного, но беспомощного человека. Не скрою, я потом сильно раскаивался в своей опрометчивости, ибо вскоре почувствовал, что мое вмешательство неминуемо поставит меня в нелепое положение. С одной стороны, я сам был в достаточной мере беспомощен и не мог заставить ученого, а тем более общественное мнение отнестись к учителю благосклонно; с другой стороны, учитель непременно должен был заметить, что главная цель, которой он добивался – доказать существование огромного крота, – заботит меня куда меньше, нежели защита его личной порядочности, что, как он полагал, само собой разумелось и не нуждалось в защите. Так получилось, что моя попытка объединиться с ним не встретила понимания и, вместо того чтобы ему помочь, мне самому пришлось подумать о помощнике, а появление такового представлялось более чем сомнительным. И, помимо всего, я взвалил на себя тяжелый труд. Я хотел убедить, но при этом нельзя было ссылаться на учителя, ибо он-то никого убедить не сумел. Знакомство с его работой только сбило меня с толку, и я предпочел до завершения своей собственной ее не читать. Я даже встречаться с ним не пытался. Он, правда, узнал через третьих лиц о моих изысканиях, но ему не было известно, в каком направлении я работаю – за или против него. Вероятно, ему мерещилось именно последнее, хоть он впоследствии и отрицал это, и у меня есть тому доказательства, так как он неоднократно ставил мне палки в колеса. Эму это ничего не стоило, потому что ведь я был вынужден повторить все уже проведенные им исследования, и он в любом случае мог опередить меня. Это был единственный справедливый упрек – кстати сказать, неизбежный, который мог быть предъявлен моей методике, – но и он в значительной мере терял силу ввиду крайне осторожного, почти смиренного тона моих утверждений. В основном же мой труд был абсолютно свободен от влияния учителя; быть может, я в этом отношении проявил даже чрезмерную щепетильность – получилось так, будто никто до меня не исследовал этого случая, не опрашивал свидетелей и очевидцев, не систематизировал показаний, не делал выводов. Впоследствии, прочитав работу учителя – у нее было очень громоздкое название: «Крот, такой большой, какого еще не бывало», – я и в самом деле убедился, что по многим пунктам наши мнения расходятся, хотя основной факт – существование гигантского крота – мы оба считали доказанным. Тем не менее эти отдельные несогласия помешали возникновению дружеской близости между мной и учителем, на что я вопреки всему надеялся. Напротив, в нем чувствовалась даже некоторая враждебность. Правда, он всегда держался со мной очень скромно и почтительно, но тем легче было заметить его истинное отношение. Он явно считал, что я сильно навредил ему своим вмешательством и что мое убеждение, будто я принес или мог принести ему пользу, в лучшем случае говорит о моей глупости, а скорее всего, это наглость, если не коварство.

Он особенно часто указывал на то, что до сих пор его противники либо вообще не выражали своего несогласия, а уж если выражали, то по крайней мере наедине с ним или на худой конец – устно, тогда как я счел нужным опубликовать свои возражения. К тому же немногие противники его, которые действительно, хотя бы и бегло, ознакомились с этим делом, как-никак выслушали мнение учителя – единственно авторитетное в данном случае, – прежде чем высказать свое, я же представил выводы, основанные на бессистемно подобранных и отчасти превратно истолкованных фактах, и если даже эти выводы в главном пункте правильны, все же они не могут внушить доверия ни массовому, ни образованному читателю. А малейшее сомнение в данном случае пагубно для дела,

На все эти упреки, хоть и преподнесенные в завуалированной форме, я легко мог бы ответить – ведь как раз его сочинение и было верхом неправдоподобия, – однако рассеять другие его подозрения было много трудней, и по этой-то причине я вообще старался вести себя с ним как можно сдержаннее. Он, видимо, втайне был убежден, что я хотел похитить у него славу первооткрывателя в деле с кротом. Но ведь славы-то никакой и не было, была одна лишь смехотворность, и то в очень тесном, все более сужающемся кругу, что, уж конечно, не могло меня прельстить. А кроме того, в предисловии к моей работе я совершенно ясно сказал, что честь открытия гигантского крота на все времена должна остаться за учителем – хотя он даже не открывал его – и что только сочувствие судьбе учителя заставило меня взяться за перо. «Цель этого труда, – писал я в заключение с излишним пафосом, но таково было испытываемое мной тогда волнение, – способствовать заслуженному признанию труда учителя. Если цель сия будет достигнута, то пусть мое имя, лишь мимолетно и чисто внешне связанное с этой проблемой, тотчас же исчезнет из нее навсегда». Подчеркнув, что роль моя в этом деле была минимальной, я точно каким-то таинственным образом предугадал возмутительный упрек учителя. Впрочем, именно в этом пункте он нашел нужную точку опоры, и я не отрицаю, что в его словах, вернее намеках, заключалась большая, хоть и неуловимая, видимость правоты, да и вообще, как я уже неоднократно замечал, в своем отношении ко мне он был куда проницательнее, нежели в своей статье. Так, он утверждал, что я в своем предисловии веду двойную игру. Если я искренне пекся о признании его научной работы, почему же я не ограничился характеристикой его как автора этой работы, почему не показал всех ее достоинств, неопровержимость выводов, почему, вместо того чтобы подчеркнуть и разъяснить значение сделанного им открытия, я полностью пренебрег его трудом и сам втесался в это дело? Разве открытие не было уже сделано? Разве в этом смысле еще чего-то не хватало? Если же я искренне считал, что должен еще раз сам проверить открытие, почему же я в предисловии столь торжественно отрекся от участия в этом открытии? Это могло показаться притворной скромностью, но было кое-чем похуже. Я обесценил открытие, я для того и привлек к нему внимание, чтобы обесценить, тогда как он исследовал его и отложил в сторону. Шум вокруг этого дела уже несколько улегся, а я опять разворошил его и тем самым поставил учителя в еще более трудное положение. Что ему защита его порядочности? Дело, только дело заботит его! А дело я предал, потому что не понимал его, потому что судил о нем неверно, потому что оно было мне не по плечу. Не с моим умом браться за такое дело. Он сидел напротив меня, обратив ко мне старое, морщинистое лицо, и смотрел на меня спокойным взглядом, но именно таково было его мнение. Кстати, это неправда, что он думал только о деле, он был честолюбив, даже очень, да и на деньги надеялся, что при его многосемейности вполне понятно. Но мой интерес к открытию по сравнению с его собственным казался ему столь ничтожным, что он не считал себя лжецом, притязая на абсолютное бескорыстие. И должен признаться, меня самого не удовлетворяли мои доводы, сколько я ни твердил себе, что упреки старика, в сущности, обусловлены его желанием, так сказать, держаться за своего крота обеими руками и потому он каждого, кто хоть пальцем коснется его сокровища, называет предателем. Не так это было, не алчностью объяснялось его поведение, по крайней мере не одной алчностью, – скорее, досадой, которую вызывал в нем полный неуспех его длительных усилий. Но и досада объясняла не все. Быть может, мой интерес к его открытию и в самом деле был недостаточно велик: к равнодушию посторонних учитель успел привыкнуть, страдал от него, но уже не огорчался в каждом отдельном случае. А тут вдруг нашелся человек, который чрезвычайно заинтересовался его делом, но и тот ничего не понял. Я же, припертый к стене, и оправдываться не хотел. Я не зоолог, и, может быть, сделай я сам это открытие, феномен взволновал бы меня до глубины души, но в том-то и суть, что я его не открывал. Разумеется, такой огромный крот – явление необычайное, но ведь нельзя же требовать, чтобы весь мир занимался им длительное время, тем более что существование крота не доказано с полной неопровержимостью и, уж во всяком случае, его нельзя продемонстрировать. И я сознался также, что, если бы даже я сам открыл его, я не стал бы по доброй воле и с такой готовностью ратовать за него, как ратовал за учителя.

Однако все недоразумения между мной и учителем, вероятно, быстро рассеялись бы, если бы мой труд имел успех. Но вот успеха-то не было. Быть может, я не очень хорошо написал его, недостаточно убедительно; я коммерсант и допускаю, что составление такого труда еще в меньшей степени соответствует моим данным, чем данным учителя, хотя опять-таки я, несомненно, располагал куда более солидным запасом необходимых знаний, нежели учитель. К тому же неуспех мог зависеть и от других причин: быть может, момент выхода в свет оказался неблагоприятным. С одной стороны, не нашедшее признания открытие произошло не так уж давно, чтобы о нем окончательно забыли, и нечего было надеяться, что мой труд привлечет общее внимание своей новизной; с другой стороны, времени прошло достаточно для того, чтобы тот незначительный интерес, который поначалу имелся, был полностью исчерпан. Те, кому мой труд вообще хоть что-то говорил, столь же уныло, как вели эту дискуссию много лет назад, думали о том, что вот теперь опять потребуются никчемные усилия для этого бесплодного дела, и даже путали мой труд с сочинением учителя. В одном из ведущих сельскохозяйственных журналов появилась такая заметка, – к счастью, только в самом конце и мелким шрифтом: «Нам снова прислали статью о гигантском кроте. Помнится, много лет назад мы уже всласть посмеялись над ней. За это время она не стала умней, а мы не поглупели. Но смеяться во второй раз мы не можем. Зато мы можем задать учительским союзам такой вопрос: неужели сельский учитель не может заняться чем-нибудь более полезным, чем гоняться за гигантским кротом?» Непростительная ошибка! Там явно не читали ни первой ни второй статьи. Поэтому нескольких мимоходом выхваченных слов, как-то «гигантский крот» и «сельский учитель», оказалось достаточно, чтобы выступить в качестве выразителей общественного мнения. Конечно, с этим можно бы спорить, и небезуспешно. Но отсутствие взаимопонимания между учителем и мной удержало меня от спора. Более того, я пытался, сколько мог, скрывать от него упомянутый номер журнала. Однако он сам очень скоро его обнаружил, я догадался об этом по одной фразе из его письма, где он сообщал, что намерен посетить меня в рождественские каникулы. Он писал: «Мир зол, и ему помогают быть злым», – чем хотел сказать, что и я порождение злого мира, но, не довольствуясь присущей мне от природы злобностью, я помогаю миру быть плохим, другими словами – стараюсь пробудить всеобщую злобность и помочь ей одержать победу. Но я уже принял необходимые решения и потому мог спокойно ждать его, спокойно созерцать, как он заявился ко мне, поздоровался еще менее любезно, чем обычно, молча сел напротив меня, бережно достал из нагрудного кармана своего почему-то подбитого ватой сюртука упомянутый журнал и, раскрыв его на нужной странице, придвинул ко мне.

– Я уже знаком с ней, – сказал я и отодвинул журнал не читая.

– Вы уже знакомы с ней – вздохнул он: у него была застарелая учительская привычка повторять чужие ответы. – Я, конечно, этого так не оставлю, – продолжал он, возбужденно тыча пальцем в журнал, и при этом пристально смотрел на меня, словно я придерживался иного мнения, по всей вероятности, он предчувствовал, что я хочу сказать, я и до того еще мог, как мне кажется, понять не только по его словам, сколько по другим признакам, что он верно угадывает мои намерения, но не желает сдаваться и поверить в свою догадку. Все, что было мною сказано в тот раз, я могу повторить почти дословно, так как вскоре же после разговора я его записал.

– Делайте что хотите, – сказал я, – с этого дня наши пути расходятся. Думаю, что мои слова не покажутся вам неожиданными или неуместными. Статья в этом журнале не послужила тому причиной, она лишь укрепила меня в моем решении; собственно, причина заключается в том, что первоначально я надеялся помочь вам своим вмешательством, теперь же я вынужден признать, что лишь навредил вам во всех смыслах. Почему так вышло, не могу сказать; причины успеха и неудач можно толковать и так и эдак, не старайтесь же выискать лишь те, которые говорят против меня. Вспомните себя, вы тоже питали лучшие намерения, но, если взять все в целом, терпели одни неудачи. Я отнюдь не шучу, ведь когда я говорю, что связь со мной, как ни печально, тоже можно отнести к числу ваших неудач, эти слова направлены и против меня самого. И если сейчас я хочу устраниться, это объясняется не трусостью и не предательством. Мне даже приходится сделать над собой усилие; с каким уважением я к вам отношусь, явствует из моей статьи; вы стали в известном смысле моим наставником. Я даже крота, можно сказать, почти полюбил. И тем не менее я отхожу в сторону, честь открытия принадлежит вам, а я, как бы не старался, только мешаю вам стяжать возможную славу и служу причиной неудач, которые распространяются и на вас. Вы, во всяком случае, придерживаетесь именно такого мнения. И довольно об этом. Единственное наказание, которое я готов понести, – это просить вас о прощении и, если вы того потребуете, повторить сделанное здесь признание публично, к примеру, на страницах этого журнала.

Вот каковы были тогда мои слова, они были не совсем искренни, но в них нетрудно было угадать их искреннюю сторону. Мое заявление подействовало на него примерно так, как я предполагал. У большинства пожилых людей в отношениях с теми, кто моложе, проявляется что-то обманчивое, какая-то лживость: ты спокойно живешь бок о бок с ними, считаешь отношения упроченными, знаешь основные взгляды, непрерывно получаешь новые подтверждения миролюбия, считаешь все само собой разумеющимся, но вдруг, когда происходит что-нибудь решающее и столь бережно выпестованный покой должен сыграть свою роль, эти старики делаются чужими, у них оказываются более глубокие, более твердые взгляды, они только сейчас вынимают из чехла свое знамя, и ты с испугом читаешь на нем новый девиз. Испуг объясняется прежде всего тем, что мысли, высказываемые теперь стариками, и на самом деле гораздо более справедливы, более разумны, и как будто безоговорочное может иметь сравнительную степень, более безоговорочны. А непревзойденная лживость заключается именно в том, что они, по существу, всегда говорили то, что говорят сейчас. До чего же глубоко проник я в психологию учителя, если ему не удалось ошеломить меня теперь.

– Дитя, – сказал он, положил свою руку на мою и дружески потер ее, – дитя, как вам вообще пришла в голову мысль заняться этим делом? Едва лишь я услышал об этом, я поговорил со своей женой, – он отодвинулся от стола, развел руками и поглядел в пол, словно жена его в миниатюре стояла там внизу и он адресовался к ней – «Много лет, – сказал я ей, – мы сражались в одиночестве, но теперь, судя по всему, у нас завелся в городе высокий покровитель, каммерсант имярек. Есть от чего возликовать, не так ли? Ведь городской коммерсант немало значит; если какой-нибудь оборванец-крестьянин поверит нам и во всеуслышание заявит об этом, это нам не поможет, ибо все, что ни делает крестьянин, непристойно; скажет ли он: старый сельский учитель прав, сплюнет ли он самым непотребным образом, результат будет тот же самый, А если вместо одного крестьянина выступят десять тысяч крестьян, результат, скорее всего, будет еще хуже. Напротив, городской коммерсант – это нечто прямо противоположное, у такого человека есть связи, даже то, что он обронил мельком, расходится в широких кругах, новые покровители начинают принимать в нас участие, кто-нибудь из них говорит, к примеру: «Вот видите, и от сельских учителей можно кое-чему научиться» – и уже на другой день об этом перешептывается великое множество людей, от которых, если судить по их виду, ты этого никогда бы не ожидал. И вот уже для дела изыскиваются денежные средства, один собирает, а другие отсчитывают деньги ему в руку, все полагают, что сельского учителя надо извлечь из деревни, к нему приходят и, не заботясь о его внешности, включают его в свой круг, а поскольку жена и дети не желают расставаться с ним, прихватывают также жену и детей. Ты когда-нибудь наблюдала за городскими жителями? Они щебечут без умолку. А если их соберется несколько, щебет перекатывается справа налево и слева направо, и назад и вперед. И под этот щебет они сажают нас в карету, не дав нам даже времени со всеми распрощаться, Господин на козлах поправляет пенсне, взмахивает кнутом – и карета трогается. Все горожане так машут на прощанье, словно мы не едем вместе с ними, а остались в деревне, Навстречу нам из города выезжает несколько карет с особо нетерпеливыми. При нашем приближении они встают с мест и вытягивают шеи, чтобы нас увидеть. Тот, кто собирал деньги, все улаживает и призывает публику сохранять спокойствие. Когда мы въезжаем в город, за нами тянется уже целая вереница карет. Мы-то думали, что приветствия уже закончились, но перед отелем они только начинаются. В городе, стоит лишь кликнуть клич, собирается множество людей, Что заботит одного, то немедленно начинает заботить другого. Они рвут мнения друг у друга изо рта и присваивают их. Не все собравшиеся могут разъезжать в карете, – такие ждут перед отелем, другие и могли бы, ко воздержались из чувства собственного достоинства. Они тоже ждут. Просто диву даешься, как это тот, который собирал деньги, может за всем углядеть»,

Я слушал учителя спокойно, более того – с каждым его словом я становился все спокойнее. Я выложил на стол все экземпляры своей статьи, сколько их у меня было. Недоставало всего нескольких, потому что за последнее время я затребовал с помощью многочисленных писем все разосланные экземпляры и уже получил большинство из них. Правда, многие адресаты очень любезно ответили мне, будто вообще не могут припомнить, что когда-либо получали упомянутую статью, и что, если таковая даже и поступала к ним, она, как ни жаль, вероятно, утеряна. Это меня тоже устраивало, по сути, я ничего другого не хотел. Лишь один попросил у меня позволения сохранить у себя статью как курьез, но обещал мне, в соответствии с моим письмом, никому ее не показывать в течение ближайших двадцати лет. Учитель еще не видел моего письма. И я порадовался, что после его слов мне легко показать ему таковое. Впрочем, я и без того мог сделать это с чистой совестью, ибо, составляя текст письма, я был чрезвычайно осторожен в выражениях и ни на минуту не упускал из виду интереса учителя и его дела. Основные тезисы моего послания гласили:

«Я прошу вернуть мне статью не потому, что более не разделяю высказанных в ней взглядов, а также не потому, что считаю их хотя бы отчасти ошибочными или даже просто недоказуемыми. Просьба моя продиктована чисто личными, хотя и очень настоятельными причинами; она не дает ни малейшего повода судить о моей позиции в данном вопросе. Убедительно прошу обратить на эти последние слова сугубое внимание и по возможности предать их огласке».

Но покамест я еще прикрывал мое письмо обеими руками и сказал следующее:

– Значит, вы намерены упрекать меня, потому что не получилось так, как вам хотелось? К чему эти упреки? Давайте не отравлять друг другу час расставания. И попытайтесь наконец понять, что, хотя вы и сделали открытие, открытие это не превосходит все остальное и, следовательно, несправедливость, вам причиненная, не превосходит всю остальную несправедливость. Я не знаком с обычаями ученой среды, но я не думаю, что даже в самом благоприятном случае вам был бы уготован прием, хотя бы отдаленно напоминающий тот, который вы, вероятно, расписывали своей бедной супруге. Я и сам ждал результатов от своей статьи, но я надеялся, что, быть может, она привлечет к вашему вопросу внимание какого-нибудь профессора, что профессор поручит какому-нибудь молодому студенту заняться этим вопросом, что студент пойдет к вам и своими методами еще раз проделает ваши и мои исследования и, наконец, когда выводы покажутся ему достойными внимания – здесь уместно напомнить, что все молодые студенты обуреваемы сомнениями, – он напишет свою собственную статью, в которой все то, что написано вами, получит научное обоснование. Но даже в том случае, если бы эта надежда осуществилась, достигнуто было бы очень немного. Статья молодого студента, который взял бы под защиту столь необычное явление, была бы поднята на смех. На примере данного сельскохозяйственного журнала вы убедились, как легко это может произойти, а научные журналы в этом смысле куда беспощаднее, что, впрочем, нетрудно понять: на профессорах лежит большая ответственность – перед наукой, перед потомками, они не могут с готовностью раскрывать объятия каждому открытию. Мы находимся по сравнению с ними в более выгодном положении. Но оставим все это в стороне. Допустим, что статья нашего студента нашла признание. Что из этого последовало бы? Не исключено, что ваше имя было бы с уважением упомянуто разок-другой, что это даже принесло бы пользу всему вашему сословию, люди говорили бы: «Наши сельские учителя умеют смотреть и видеть», а этому журналу, если бы только журналы обладали памятью и совестью, пришлось бы публично просить у вас прощения, возможно, сыскался бы какой-нибудь благожелательный профессор, который исхлопотал бы для вас стипендию; не исключено также, что были бы предприняты попытки перевести вас в город, найти вам место в городской начальной школе и дать вам возможность пользоваться для своего дальнейшего образования теми научными средствами, которыми располагает только город. Но если быть вполне откровенным, я должен сказать, что, на мой взгляд, все это были бы лишь попытки. Вас бы вызвали сюда, вы бы и в самом деле приехали, но как обыкновенный проситель, каких сотни и сотни, без торжественной встречи, с вами поговорили бы, ваши добросовестные усилия снискали бы похвалу, но люди тотчас увидели бы, что вы – пожилой человек, что начинать в вашем возрасте занятия науками бессмысленно, что ваше открытие было скорее случайностью, нежели следствием планомерных трудов и, за исключением этого единичного случая, вы отнюдь не намерены впредь работать в данном направлении. Исходя из всех этих соображений, вас, вероятно, оставили бы в деревне. Но над вашим открытием тем не менее продолжали бы работать другие, ибо не так уж оно незначительно, чтобы, единожды заслужив признание, снова кануть в Лету. Но вы-то впредь ничего бы о немне услышали, а то малое, что могли бы услышать, едва ли поняли бы. Любое открытие незамедлительно увязывается со всей совокупностью наук, после чего оно в некотором роде перестает быть открытием, око растворяется и исчезает в целом, и надо обладать научно натренированным взглядом, чтобы и тогда уметь его различить. Его увязывают с постулатами, о существовании которых мы и не подозревали, и в научном споре его с помощью этих постулатов увлекают в заоблачные выси. Где уж нам это понять! Когда мы следим за научной дискуссией, нам кажется, например, будто речь идет об открытии, на деле же речь идет о совершенно других предметах; в следующий раз мы думаем, что речь идет о чем-нибудь другом, вовсе не об открытии, а речь идет как раз о нем.

Бы понимаете, о чем я говорю? Вы остались бы в деревне, с помощью полученных денег смогли – бы чуть лучше кормить и одевать свое семейство, но открытие ваше перестало бы вам принадлежать, и у вас даже не было бы морального права сопротивляться, ибо лишь в городе могло бы со всей полнотой выявиться его значение. Вам отнюдь не высказали бы неблагодарности, – на том месте, где было сделано открытие, возможно, выстроили бы небольшой музей, музей стал бы местной достопримечательностью, вы, конечно, были бы смотрителем музея, и, чтобы не обойти вас также и внешними почестями, вас наградили бы небольшой нагрудной медалью, такой, какие мы видим на служителях ученых институтов. Да, все это было бы вполне возможно, но разве этого вы хотели?

Он без промедления дал мне совершенно справедливый ответ:

– Значит, этого вы для меня и добивались?

– Возможно, – сказал я, – но в ту пору я действовал недостаточно продуманно, чтобы ответить вам сейчас с полной определенностью, Я хотел вам помочь, мне это не удалось, пожалуй, это самое неудачное из всех моих начинаний. Потому я и хочу теперь отойти в сторону и сделать содеянное несодеянным, насколько это в моих силах.

– Ну хорошо, – сказал учитель и, достав свою трубку, принялся набивать ее табаком, который был у него насыпан во всех карманах. – Вы по доброй воле взялись за это неблагодарное дело, а теперь по доброй воле отходите в сторону. Все совершенно правильно.

– Я не тупоголовый упрямец, – сказал я. – Может быть, вы находите какие-нибудь недочеты в моем предложении?

– Решительно никаких, – отвечал учитель и задымил своей трубкой,

Я не мог вынести запаха его табака, поэтому я встал и начал ходить по комнате. Из предыдущих встреч я знал, что учитель предпочитает помалкивать, но уж ежели он пришел ко мне, от него так просто не избавишься; он неоднократно очень надоедал мне, ему чего-то от меня надо, всякий раз думал я и предлагал ему деньги, которые он, кстати, охотно брал. Но уходил он лишь тогда, когда ему заблагорассудится. К этому времени трубка обычно бывала выкурена, он обходил кресло сзади, аккуратно и почтительно придвигал его к столу, брал из угла свою узловатую палку, горячо пожимал мне руку и уходил. Но сегодня его молчаливое присутствие особенно тяготило меня.

Если один человек предлагает другому навсегда расстаться, как сделал я, и другой считает это предложение вполне правильным, ему, естественно, надлежит как можно скорей завершить оставшиеся еще общие дела и не навязывать первому без всякой нужды свое молчаливое присутствие. Каждый, кто взглянул бы сзади на этого упорного старичка, сидящего за моим столом, решил бы, что теперь его и вообще не удастся выпроводить из комнаты…